

Николай Александров

«Жизни спутанные нити»

Жанр документального романа как будто балансирует на грани научного исследования и художественной рефлексии. Степень художественности, наверное, и заставляет использовать именно слово «роман», а не, скажем «эссе», как принято во Франции, например. Автор, с одной стороны, отказывается от сухой филологической наррации, но с другой — все-таки вынужден сдерживать свое воображение, имея дела с реальными фактами и живыми, невдуманнами персонажами, с героями, чья судьба уже определена жизнью и историей. Остается лишь ярко выраженное видение, взгляд, в котором домыслы опираются на действительно бывшее, особая, как сегодня принято говорить, оптика при погружении в историю вообще и истории героев, которая и становится инструментом интерпретации или, если угодно, ярко выраженным авторским волонтаризмом, то есть тем островом свободы, на котором возможна стилистическая свобода документального романа.

Сергей Беляков берет за судьбы героев, которые действительно стоят или заслуживают романа. Или, по крайней мере, подталкивают к романному воплощению, даже романному обобщению, если угодно. Поскольку речь идет не просто о типологии рока, общем узоре нитей, сплетенных Паркой, но о странных закономерностях времени, столкновении разных эпох и разных культур, кровавых конфликтах прошлого столетия, которые и сегодня отдаются внятным эхом.

Сергей Беляков. Парижские мальчики в сталинской Москве: Документальный роман. — М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2021.

Эти герои — Георгий Эфрон и Дмитрий Сеземан.

У обоих родители (у Эфрона — отец, у Сеземана — отчим, Николай Клепинин) были белыми офицерами. Оба выросли в парижской эмиграции и впитывали в себя воздух французской культуры, удивительную атмосферу Парижа, который затем будут вспоминать всю жизнь и в который будут стремиться. И Николай Клепинин, и Сергей Эфрон были завербованы советскими спецслужбами и выполняли задания советской разведки. И Георгий Эфрон, и Дмитрий Сеземан были страстно увлечены новой советской реальностью и стремились в коммунистическую Россию. И вернулись вместе с семьями. И жили вместе. И тот и другой обманулись в своих ожиданиях, пережили репрессии, смерть родных и близких, в войну ушли на фронт. Только Эфрон погиб, а Сеземан выжил. Выжил и вернулся в Париж. «У меня нет сомнений, что Мур повторил бы судьбу этих парижских мальчиков. В Москве сделал бы карьеру. Добился бы и богатства, и успеха... Но и он покинул бы Москву и умер, конечно, в Париже. В январе 1943-го, в том самом исповедальном письме к Муле Гуревичу, Мур предсказал: “И последняя моя мысль будет о Франции, о Париже, которого не могу, как ни стараюсь, забыть”. А что мысль эта промелькнула в голове не где-нибудь у Бельфорского льва, а на проселочной дороге северной Белоруссии, так в том не его вина», — пишет Сергей Беляков в финале романа.

Понятно, что рассказ об этих судьбах требует многого. Слишком много событий, фактов, людей, нюансов — бытовых, идеологических, исторических, уже исследованных,

интерпретированных. Революция, гражданская война, эмиграция и раскол внутри эмиграции, шпионская деятельность и измена своим убеждениям (если не предательство), сталинский террор, голод, война, болезни, столкновение западной культуры и советского образования — да мало ли что еще. И на протяжении всего повествования Сергей Беляков пытается сохранить верность фактам, воссоздать обстановку (обстановки), в которой оказываются герои, обращает внимание на мелочи (будь то одежда, еда или специфика советских газет и советского обучения, а главное, не упускает из виду, пожалуй, самое важное: в чем же специфика, в чем же феномен восприятия советского мира «парижскими мальчиками», в чем основа, в чем корень их чужеродности (и не только языковой, хотя он один из главных — Эфрон и Сеземан были билингвами), но одновременно и какой-то глубокой причастности к этому миру.

«Две культуры — это ведь не две суммы знаний, это два образа мысли, два ощущения мира. Русская, как только я попал в Россию, поразила меня и пленила. Тем не менее, ни метафизический бунт Достоевского, ни всепринятие Толстого прочно привиться так и не смогли. Всё, что я до этого во Франции читал, учил, всё, что мне внушали, противилось неразумному и восторженному, как полагалось, приятию действительности. Потому что и Вольтер, и Стендаль, и Флобер, и Ларошфуко, и Андре Жид, и Пруст, мой любимый Пруст, научили меня несколько скептическому взгляду на жизнь...» — цитирует Беляков интервью Дмитрия Сеземана радиостанции «Свобода».

Но есть еще один очень важный аспект, который, разумеется, будет учитываться при чтении романа и даже приниматься во внимание в первую очередь. Это имя Марины Цветаевой. Ее судьба, ее трагическая смерть, ее творчество — это тот свет, который невозможно заслонить, который освещает все. В ткань ее жизни вплетены нити судеб ее мужа Сергея Эфрона, ее сына Георгия (Мура), дочери Ариадны (Али) и многих, многих других. Это ее текст, который выходит далеко за хронологические рамки описываемых в романе событий.

Может быть, символично, что роман Белякова выходит одновременно с томом писем

Ариадны Эфрон к Анне Саакянц («Вторая жизнь Марины Цветаевой. Письма 1961—1975»). По существу, этот внимательно откомментированный том — хроника возвращения творчества Марины Цветаевой российскому читателю и свидетельство подвига, данного себе Ариадной Эфрон зарок — дать вторую жизнь тому, что, казалось, эпоха, это страшное пространство-время XX века обрекло на забвение.

Эти две книги находятся как будто во взаимном отражении и уж точно перекликаются друг с другом.

Книга писем Ариадны Эфрон раскрывает историю издания произведений Цветаевой. Роман Белякова — в том числе раскрывает, скажем так, некий психологический, экзистенциальный контекст, в котором действуют участники этого процесса.

В мае 1956 года Илья Эренбург пишет вступительную статью «Поэзия Марины Цветаевой» для сборника ее лирики, который должен был выйти Гослитиздате и который «пробила» и составила Ариадна Эфрон. Эренбург наверняка понимал, какому риску он себя подвергает, под какой удар подставляется. И действительно, его статья, опубликованная в альманахе «Литературная Москва» в качестве предисловия к публикации семи цветаевских стихотворений, вызвала грандиозный скандал и стала объектом сокрушительной критики. «Эренбурга обвиняли в том, что в статье отмечается, будто трагедия Цветаевой “никак не связана с ее глубоким отчуждением от революционных путей родной страны”, а также в том, что автор статьи “уклоняется от исторического конкретного анализа и прямых идейных оценок” и пропагандирует произведения “декадентствующей поэтессы”, от стихов которой “веет чужеродным, давно ушедшим в прошлое” и которые “не нашли отклика в сердце народа” и т.д. и т.п.», — пишет Татьяна Горькова в предисловии к книге писем Ариадны Эфрон.

В этом контексте поступок Эренбурга выглядит бескорыстно-мужественным. Но дело обстоит несколько сложнее. Есть и другие причины морально-нравственного порядка. Эренбурга мучили угрызения совести. Сергей Беляков напоминает в своем романе, ссылаясь на воспоминания современников

и свидетельства Дмитрия Сеземана в частности, что именно Эренбург говорил Цветаеву вернуться в СССР, пообещав ей издание ее книг, понимание и востребованность, которых не было во Франции, говоря, что «в России ее ждут, что там не только ее родина, но и ее читатели, что... никто не потребует никаких отречений». В действительности же все обстояло совершенно иначе: «Марина, — приводит Беляков разговор, состоявшийся уже в Москве между Эренбургом и Цветаевой, в передаче Сеземана со ссылкой на Георгия Эфрона, — стала Эренбурга горько упрекать: “Вы мне объясняли, что мое место, моя родина, мои читатели здесь; а вот теперь мой муж и моя дочь в тюрьме, я с сыном без средств, на улице, и никто не то что печатать, а и разговаривать со мной не желает”. <...> Эренбург ответил Цветаевой так: “Марина, Марина, есть высшие государственные интересы, кото-рые от нас с вами сокрыты и в сравнении с которыми личная судьба каждого из нас не стоит ничего...” Он бы еще долго продолжал свою проповедь, но Марина прервала его: “Вы негодай”, — сказала она и ушла, хлопнув дверью».

Вот еще две цитаты из романа Белякова.

Первая касается ареста Ариадны Эфрон: «...ее пытали бессонницей, избивали резиновыми дубинками (их называли “дамскими вопросниками”), запирали раздетой в холодном боксе и даже имитировали расстрел. Силы человеческие не безграничны. Ариадна Сергеевна призналась, что “с декабря месяца 1936 г.” стала “агентом французской разведки, от которой имела задание вести в СССР шпионскую работу...” Но Аля следователей не очень интересовала. Важнее было получить показания на ее отца. И ее заставили подписать и это чудовищное признание: “Не желая скрывать чего-либо от следствия, должна

сообщить о том, что мой отец Эфрон Сергей Яковлевич, так же как и я, является агентом французской разведки...” И она странно смотрится рядом с другой цитатой уже в финале книги: «Ариадна Эфрон отсидит все восемь лет и выйдет на свободу только в 1948 году...» Ариадна Эфрон вернется из пожизненной ссылки в 1955 году, предварительно написав известное нам письмо в военную прокуратуру. Оно завершилось такими словами: «...весь остаток своей жизни буду стараться оправдать оказанное мне доверие. Спасибо советскому правосудию!».

Это последние слова об Ариадне Эфрон в романе. И, как мне кажется, не слишком справедливые интонационно. Хотя бы если принять во внимание, что смогла сделать Ариадна Эфрон после освобождения. И они иначе воспринимаются в контексте книги ее писем. «Увы, после маминой смерти и более близкой по времени и пространству (когда мама умерла, я ведь сама была «по ту сторону») — смерти Бориса Леонидовича я твердо убедилась в том, что и сама непременно умру. Раньше, даже на самом краешке жизни, я не задумывалась о том, что и мои дни сочтены. А теперь знаю, что прожито уже много-много, осталось мало-мало, и надо торопиться. Торопиться же что-то не хочется. Сейчас цветут вишни, сливы, черемуха. Я уже несколько раз навещала домик маминого детства — и очень хорошо, т.к. “отдыхающие” еще не наехали (домик на территории Дома отдыха) и было пустынно и тихо. Вокруг дома растут четыре высоченных ели, когда-то посаженные дедом в честь четверых его детей», — писала Ариадна в одном из писем. Для нее это было уже другое время, другой модус существования.

Если угодно — вторая жизнь, которой не было дано ее брату Муру.